

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Нравственные и эстетические соображения

§ 1. Различие между вещами продажными и непродажными

Если в современных наших юристах и экономистах не осталось и признака того критического направления, которое так высоко ставили их предшественники, то литераторы наши, что еще хуже, перестали понимать в чём заключается преимущество их профессии и личное достоинство. Я вероятно удивлю не одного из них, когда выскажу мнение, что между теми вещами, которые находятся в обороте, на которые постоянно направляется наша деятельность и которым мы придаем известную ценность, есть такие, которые по существу и назначению своему продажные, — но есть и непродажные и что к числу последних относятся произведения художественные и литературные.

Вот мой новый софизм. Г. де Ламартин, который кажется тогда только и обращает внимание на вещи, когда они могут быть обращены в деньги; который, поэтому, открывает подписку за подпискою на свои стихотворные и прозаические сочинения; который для большего обеспечения требует, чтобы временную монополию авторов превратили в бессрочную ренту, вероятно, не разделяет моего мнения. Что же касается до тех экономистов и юристов, которые, как мы видели, хотя и требуют установления литературной собственности, однако, устами г. Лабуле, сознаются, что в области интеллектуальной нет места присвоению, то им вероятно любопытно будет узнать от чего это зависит.

До сих пор мы рассматривали писателя только как производителя полезной вещи и с этой точки зрения признали за ним право на вознаграждение; но в писателе есть еще и другая черта. Он преследует не одну утилитарную цель, он имеет в виду еще нравственное, идеальное воспитание. Идеал в области совести и в жизни, вот главный элемент литературного произведения, тогда как суть промышленного продукта заключается именно в его полезности. С этой точки зрения литературное произведение непродажно, — не порождает права на вознаграждение; в этом то и заключается главная причина неприменимости завладения к сфере интеллектуальной. Я утверждаю, что установление художественной и литературной собственности, если бы оно даже и было осуществимо,

унизило бы искусство и литературу. Литература, заявляющая подобные требования, противоречит и своему назначению, и прогрессу, словом подобная литература безнравственна.

Понятно ли? — Довольно ли смел парадокс?... О несчастные выкидыши революции! Восемьдесят лет тому назад подобная истина считалась общим местом; в настоящее же время ее приходится доказывать по всем правилам.

Много вещей по своей возвышенности выходит из области полезного, таковы: религия, правосудие, наука, философия, искусство, литература. Скажем обо всех их по несколько слов.

§ 2. О религии

Торговля Евангелием противна духу Христианства. Иисус Христос говорил своим ученикам, что они должны даром передавать другим людям то, что сами получили даром. Торговля Евангелием, которая пришла на ум Симону, в глазах церкви составляет смертный грех, преступление против Бога, которое и называется Симониею. В позднейшие времена церковь, правда, несколько отклонилась от первоначального направления. Было время, когда епископы владели обширными поместьями, аббаты держали рабов, монастыри обогащались вынужденными дарами. Но принцип остался неизменным, церковь не хочет, чтобы слуги её собирали подаяния, она не терпит симонии.

Не одна христианская, но и другие религии держатся того же правила. Будда, Конфуций, Сократ, все они проповедовали свое учение безвозмездно, питаясь чем попало и при случае жертвовали жизнью за убеждения. Магомета обвиняли в лицемерии и в тщеславии, но и он не извлекал выгоды из продажи Аль-Корана.

§ 3. О правосудии

Подобно тому как религия порождает особое сословие — духовенство, так и правосудие ведет к образованию особого класса должностных лиц — судей. И судьи и духовные лица живут жалованьем или вознаграждением за труды, но нельзя сказать, чтобы они получали плату. Тяжущийся, который, выиграв процесс, хотя одним словом поблагодарит судью, тем самым наносит ему величайшее оскорбление; в этом случае и предложение и принятие какого бы то ни было подарка — преступно. Если судья Гозман (Goezmann) был виноват, то не менее преступен был и Бомарше. Но сколько труда предстоит честному судье для раскрытия истины, сколько он должен иметь терпения, охоты, знания! Литераторы смеются над судебным слогом, но всякое решение, хорошо мотивированное и коротко изложенное, должно быть рассматриваемо как произведение образцовое, классическое не только по содержанию, но и по стилю. Но был ли когда-нибудь пример продажи сборника судебных решений в пользу постановивших их судей? Сборник Даллоза приносит выгоду собирателю, но не судьям, доставившим материал для его книги. Нет должности труднее судейской, а

между тем попробуйте поговорить с судьей о прибыли, подобно смешанной комиссии (commission mixte), собранной в Париже, для прений о литературной собственности, попробуйте сказать ему, что воспроизведение его решений, так тщательно мотивированных, строго логичных, точных, полных юридических сведений, составляет его исключительное право и посмотрите как будет принято ваше предложение. До революции пробовали было обеспечить положение судей тем, что в пользу их назначены особые судебные пошлины (érisе), но этот унижительный способ вознаграждения уничтожен в 89 году, потому, что он делал правосудие продажным. Поступать сообразно требованиям справедливости трудно; за выполнение этого трудного дела, за хорошее поведение, детям дают награды, но взрослых людей не прилично вознаграждать за подобные поступки. Отправлять правосудие, применять закон к другим лицам еще труднее; но именно поэтому-то подобное занятие и должно исключить всякое понятие о продажности.

§ 4. О философии и науке

Французское законодательство о привилегиях на изобретения ясно выражается, что философские и научные принципы, т. е. открытия законов природы и законов общественных не могут подлежать присвоению{12*}. Продажа истины так же отвратительна, говорит законодатель, как и продажа правосудия. Можно ли себе представить, чтобы римляне, пославшие в Афины депутацию для того, чтобы списать афинские законы дали афинянам какое-нибудь вознаграждение за подобное заимствование? — Знаменитый Сиес опозорил себя тем, что продал свою конституцию Бонапарту. К философу применяются те же принципы, что и к законодателю, и к судье, и к священнику; награда его заключается в распространении той истины, которую он проповедует.

Ни неизвестный изобретатель арабских чисел, ни основатель алгебры Виетта, ни Декарт, применивший алгебру к геометрии; ни творец дифференциального исчисления Лейбниц, ни изобретатель логарифмов Непир, ни Папен, открывший значение и полезное применение пара, ни изобретатель знаменитого столба — Вольта, ни Арого, предвидевший возможность применения электромагнетизма к телеграфу за 15 лет до его изобретения; — никто из этих людей, открытия которых имеют громадное значение и для науки и для промышленности не мог бы получить привилегии на свое изобретение. Для этих великих умов обязательно бескорыстие. Неужели несправедлив закон, таким образом отделяющий учёного, который открыл идею, принцип, и который ничем за это не вознаграждается, от промышленника, делающего практическое применение этого принципа и получающего за то привилегию? Нет, закон справедлив, ложно только его применение, несостоятельна только наша диалектика.

Конечно, нужно, чтобы и учёный, и философ, и священник, и судья чемнибудь да жили, а им запрещается заниматься спекуляциями. Как, скажете вы, они осуждены на нищету потому, что на их долю выпало открыть идею, которую первый встречный воспользуется для своего обогащения посредством простого её применения! Неужели каждый из этих учёных не имеет права сказать: мои цифры, моя алгебра, мой анализ, мои логарифмы, мой столб, подобно тому как какой-нибудь Уатт говорит: моя машина?

Нет, отвечает закон. Истиною нельзя торговать, ее никто не может себе присвоить. Пусть найдут средство обеспечить безбедное существование мыслителя, не прибегая к помощи торговли. Что касается до применителя, то его деятельность совсем иного рода, он решается на предприятие, исход которого неизвестен; излишек дохода в этом случае служит только вознаграждением за риск. Пусть регулируют барыши, говорит закон, пусть уменьшают риск, пусть уравнивают шансы, — это будет благоразумно с точки зрения экономической и я ничего против этого не имею; но выносить истину на рынок — безнравственно. Продажность унижает и губит истину, точно так же как и религию и правосудие.

Итак в сферу науки и совести нельзя вносить понятия продажности. Слуга истины, философ, стоит в точно таком же положении как и судья. Взвзвись за проповедование истины, или по крайней мере того, что он считает за истину, философ таким образом принимает на себя обязательство, которое нарушает, если начинает торговать истиною. В наше время, являлся человек, одаренный необыкновенным гением, который торговал абсолютом. Призванный за это к суду исправительной полиции он запятнан и в глазах современников и в глазах потомства именем шарлатана. Покрытый позором и при жизни и после смерти Гене Вронский (Hoené Wronski) исключён из списка философов.

Вследствие неприменимости понятия продажности к идеям — деятельность священника, философа, учёного должна быть безвозмездна; я понимаю под этим, что они не должны обращать в ремесло, или в товар тех мыслей, которые они провозглашают и что вознаграждение, им назначаемое, в какую бы форму оно ни было облечено, не может быть рассматриваемо, как заработная плата. На эту плату нужно смотреть, как на пособие или вознаграждение, соразмеряемое не с ценностью услуги или сообщения (и те и другие неоценимы), но с физическими потребностями человека. Везде и во все времена народы стремились к тому, чтобы поддержать уважение к духовенству, судейскому и профессорскому сословию, для чего и старались вывести этих лиц из нищеты. Здравый смысл указал обществу, что за подобные должности нельзя назначить платы; что их нельзя перевести ни на какое количество золота или серебра, ни на головы скота, ни на рабочие дни. Тут приходится отбросить утилитарную систему. Между тем как промышленник включает в цену своего продукта и расходы производства, и редкость предмета, и настоятельность потребности в нем, и работает таким образом из-за барыша, интеллектуальные производители не высчитывают своего труда и убитого на него времени; они довольствуются насущным хлебом, требуют только необходимого для их существования. Это люди, созданные для самопожертвования, они не знают барышничества.

Поэтому-то я считаю непристойными и унижительными и для церкви и для науки следующие слова вышеупомянутой смешанной комиссии: «Профессора и проповедники передают публике только свои слова; но им одним принадлежит право воспроизводить эти слова (в видах извлечения выгод) путем печати». Такой несчастный софизм мог явиться только в эпоху всеобщего упадка и продажности. Профессор, оратор, продающий за деньги сказанные им речи поступает несправедливо и неприлично. «Из одного и того же мешка нельзя брать двух мер пшеницы»; профессор, поступающий таким образом, виновен в грехе симонии, в лихоимстве. Я допускаю некоторые уступки, я могу смотреть сквозь пальцы на

некоторые злоупотребления; но совесть моя возмущается при виде, что злоупотребления возводятся в принцип.

§ 5. О литературе и искусствах

Рядом со святым, справедливым, истинным, нам следует рассмотреть и изящное. Можем ли мы, на основании политико-экономических данных, сказать, что и в сфере литературы и искусства также нельзя допустить продажности? — Я попробую не доказать подобную возможность, но только дать ее почувствовать потому, что в вопросах личного вкуса и совести главная роль принадлежит не рассудку.

Заметим прежде всего, что между сферами религии, правосудия, науки и сферами поэзии, красноречия и искусства существует тесная связь, вследствие которой они подчиняются одним и тем же законам. Литература и искусство первоначально относятся к правосудию, как форма в метафизике относится к содержанию. Впоследствии между ними проводится резкая граница, но сначала судьба их солидарна.

Нравственные и религиозные идеи воплощаются в поэтических произведениях, проявляются в гимнах, храмах, статуях, картинах, легендах, мифах и т. п. произведениях искусства, в которые входит и элемент промышленный, но которые тем не менее не могут служить предметами торговли. Можно ли представить себе царя Давида, берущим деньги за свои гимны, или архитектора Гирама — собирающим плату за вход в храм, им построенный; Боссюэта — требующим вознаграждения за свои речи, или наших священников — взимающими с католиков плату за крестный ход, совершаемый в праздник?

Тоже можно применить и к светским произведениям искусства. Первоначально законы писались стихами, которые дети выучивали наизусть, — так по крайней мере говорит Цицерон о законах двенадцати таблиц, но ни кому и в голову не приходило считать их собственностью законодателя. Барду, воспевающему сражение давали награду, но его услуга не покупалась на деньги. Тиртей, требующий от лакедемонян платы за свои песни, потерял бы всякое обаяние. Еще труднее вообразить себе Руже де Лиля (Rouget de l'Isle) требующим после жемманской битвы вознаграждения за свою «Марсельезу» и опирающимся при этом на принцип экспроприации вследствие требований общественной пользы. Я хочу высказать довольно жестокое желание: Руже де Лиль умер, забытый всеми, в глубокой нищете; злопамятность правительства и реакционная эпоха были тому причиной, но я был бы сильно огорчен если бы правительство сжалилось над ним и назначило ему пенсию. Я готов стоять за сооружение памятника Руже де Лилю, но я восстал бы против назначения ему жалованья. В одну прекрасную ночь его посетил гений революции и передал ему слова и голос Марсельезы. После того Руже де Лиль пробовал было продолжать карьеру певца, но неудачно. Это доказывает, что мысль, выраженная им в Марсельезе, принадлежала не столько ему, сколько обществу; что она относится к числу вещей неоценимых.

Руже де Лиль был в бедственном положении, — до этого никому нет дела, кроме разве друзей его. За великое произведение, обессмертившее его имя, республика не обязана была

награждать его ничем, кроме венка. Вопреки господствующему предрассудку, я утверждаю, что любовь к родине и поступки, вызываемые этим чувством, — непродажны. Поэтому, литератор и художник настолько же отличаются от промышленника, на сколько солдат-гражданин отличается от солдата-наемника.

В настоящее время литература и искусство могут быть свободны, т. е. не зависеть ни от церкви, ни от правительства, не преследовать ни религиозных, ни политических, ни педагогических целей. Будем ли мы применять наши строгие правила и к этой независимой литературе и к этому независимому искусству?

Будем говорить об истинном писателе, об истинном артисте, т. е. о таком, для которого чувство изящного стоит выше ремесленных и утилитарных соображений. Подобный человек, при полной своей независимости, не может отрешиться от святости своего призвания. Он передатчик, провозвестник божественных истин, он — просветитель общества, назначение его вытекает из самого его дарования. Таким образом, мы возвращаемся к своей исходной точке, к различию между вещами продажными и непродажными; первые составляют сферу полезного, вторые относятся к сфере совести, идеала и свободы.

Пусть поймут это гг. артисты и литераторы; поэзия, красноречие, живопись, скульптура, музыка, по существу своему так же неопределимы, как правосудие, религия, истина. Целый мир открыт для поэзии и искусства, никаких границ для них не существует; сами они служат одной только истине, отступить от которой не могут, не унижая своего достоинства. Только из соединения рассудка, права и искусства вытекает свобода человека, но каким же образом может осуществиться подобная эмансипация, если художник и писатель будут рабами чувственности, льстецами порока, если они будут трудиться из-за денег и хлопотать об одной выгоде, как откупщики или ростовщики? — Продажное искусство, как женщина, торгующая своею красотой, теряет все свое значение. Говорили, что искусство независимо от правил нравственности; из приведенного сравнения можно видеть в каком смысле и в какой степени может быть допущена подобная независимость. Есть на свете существа столько же прекрасные, сколько и порочные; есть напротив того и нравственно-безупречные, но обиженные природой. Между тем как порок мало-помалу уродует первых, — истина преображает и украшает последних; таким образом — красота и добродетель, безобразие и порок — в сущности — тождественны, синонимичны. Нет, искусство, — эта религия идеала — не может уживаться с безнравственностью. Никакой талант, никакой гений не справится с подобным положением; художник незаметно впадет в тривиальность, а из тривиальности в бесплодие и погибнет.

Выведем заключение: формы, в которые писатель и художник облачают религиозные, нравственные и философские мысли, на столько же священны, как и сама религия, нравственность, истина. Подобно тому, как судья связан требованиями справедливости, а философ — требованиями истины, — поэт, оратор, художник — связаны требованиями красоты. Они обязаны знакомить нас с этою красотой, потому что их задача — улучшить нас самих, потому что их работа состоит в том, чтобы подвергнуть критическому анализу самую нашу личность, подобно тому как философия подвергает анализу наш разум, а юриспруденция — нашу совесть.

Арабская пословица говорит: «Нужно припасать сено для осла, но не зачем ловить мух для соловья». Такое правило по-видимому несправедливо, на самом же деле совершенно основательно. Всякий автор, который может жить своими средствами, но тем не менее берет деньги за свои сочинения, поступает неблагородно. Даже для бедного писателя унизительна необходимость, заставляющая его торговаться с издателем. Истинный художник воспроизводит красоту ради её самой, а не для того, чтобы внести ее в ипотечные книги. Великий оратор, увлекающий аудиторию стремится отвлечь ее от мелочных интересов: обратите его в наемника и вы отрежете ему крылья, отнимите у него всю силу. Таким-то образом мы во Франции дошли до того, что только забавляемся громкими речами; нас не проймешь красноречием, как не проймешь и добродетелью. Да, г. де Ламартин, вы, опасаясь, чтобы кто-либо не похитил ваших стихов, или вашей прозы, но сами без зазрения совести пользующиеся чужим трудом, вы ясно показываете нам, что литературная собственность есть ничто иное, как литературное попрошайничество. Хорошо если бы вы могли во время остановиться и не показали бы нам, что она кроме того может еще дойти и до распутства.

Продажная поэзия, продажное красноречие, продажная литература, продажное искусство — разве не все этим сказано, разве нужно еще что либо к этому прибавлять? Если в настоящее время мы уже ничему более не верим, то значит все мы продажны, значит мы торгуем своею душою, своим рассудком, своею свободою, своею личностью, точно так же как продуктами наших полей и наших мануфактур. История сохранила рассказ о гражданине, который находясь в крайней нужде занял денег под залог тела своего отца. Многие ли из нас в настоящее время подумали бы о выкупе подобного залога? — Мы готовы скорее прибавить к нему наших жён и детей.

Что касается до вопросов о правительстве, об администрации и об общественной службе, то я позволю себе на этот счет отослать читателя к своему сочинению: «О теории налогов».

§ 6. Почему некоторые продукты и услуги не могут продаваться? — Причины литературного торгашества

Посредством простого противопоставления понятий я показал, что законы, управляющие сферою полезного, неприменимы к области совести, философии и идеала. Эти две сферы несовместимы, их нельзя смешать, не уничтожив. Если бы за труд платили одною благодарностью или аплодисментами, то это было бы насмешкою над трудом и необходимо повлекло бы за собою обращение рабочих в рабство. На оборот, религия — обращённая в доходную статью, — становится лицемерием, симониєю; правосудие — вероломством; философия — софистикою; истина — ложью; красноречие — шарлатанством; искусство — орудием разврата; любовь — животною похотью. Не я один имею подобный взгляд, в этом духе повсеместно выражается и общественное мнение, этого же направления держатся и все законодательства.

Различие между вещами продажными и непродажными так же глубоко с точки зрения политической экономии, как и с нравственной или эстетической точки зрения. Если бы мои противники, важно называющие себя экономистами и ex professo берущиеся за разрешение вопроса о литературной собственности имели ясное понятие о науке, её принципах, границах и подразделениях, то они шли бы таким путем:

Помня, что политическая экономия есть наука о производстве и распределении богатств всякого рода, материальных и нематериальных, светских и духовных, они определили бы понятие производства, показали бы, что нет различия между производительностью мастерового и литератора потому, что в обоих случаях дело в том, чтобы придать личную форму безличной идее, произвести видоизменение в материи, словом произвести силу.

Постановив таким образом вопрос они заметили бы, что между продуктами человеческой деятельности одни могут, а другие не могут быть оплачены потому, что продажность лежит в самой природе первых, но несовместима с последними. Они поняли бы, что подобное различие необходимо должно существовать и что от соблюдения этих противоречащих друг другу законов продажности зависит правомерность гражданских отношений, свобода личности, уважение человеческого достоинства, неприкосновенность общественного порядка. В самом деле, сказали бы они, не достаточно одного появления продуктов, нужно еще, чтобы эти продукты потреблялись, усваивались, ассимилировались — одни духовною, другие — телесною стороною человека. Для этой цели необходимо, чтобы продукты, предназначенные для физического употребления, составляющие область полезного, по преимуществу, обменивались, т. е. оплачивались ценностью за ценность; чтобы другие продукты, принадлежащие к категориям прекрасного, справедливого, истинного, распространялись безвозмездно, без чего разделение труда и распределение возмездных объектов потребления повело бы к рабству и обману. Человек ни во что не верящий, ничего не уважающий, скоро становится бесчестным человеком и даже вором. Но положе руку на сердце мы должны признаться, что имеем веру только в то, что дается нам даром, питаем уважение только к тому, за что не приходится платить. Только уважение к вещам неоценимым и заставляет нас добросовестно платить за те, которые ценятся на деньги.

Другими словами, для того, чтобы общество могло жить и развиваться, недостаточно указать только на законы политической экономии, объективно определяющие понятия о моем и твоём; нужно еще, чтобы эти законы всеми свято исполнялись, а этого нельзя достигнуть без постоянного, повсеместного и дарового распространения понятий о прекрасном, справедливом и истинном.

Таким способом эгоизм в социальной экономии примиряется с общественною пользою. Индивидуум имеет свои права, общество — свои.

Но, поспешили бы прибавить экономисты, так как судья, учёный, художник, хотя и производят вещи непродажные, но для поддержания своего существования принуждены потреблять продажные продукты, и так как у многих из этих людей нет состояния, то справедливо, чтобы общество доставило им средства к жизни. Только вознаграждение их примет совершенно иной характер и должно быть рассматриваемо не как плата за услугу, но как пособие. Прекрасного, справедливого, истинного нельзя сравнивать с полезным; в

настоящем случае дело идет не о купле-продаже продукта; но об вознаграждении человека. С этою-то целью закон устанавливает в пользу всякого автора срочную привилегию и дает ему средства удовлетворить своим нуждам, предоставляя ему в случае надобности прибегнуть и к помощи торговли.

Вот каким путем должно бы идти рассуждение, так как вся суть вопроса заключается в непродажности литературных и художественных произведений, в противоположность продажности произведений промышленных. Наконец вдобавок, и на тот случай, что учение о различии между вещами продажными и непродажными будет отвергнуто, как слишком смелая и парадоксальная теория, экономисты, ограничиваясь на этот раз одною сферою полезного, могли бы, так как поступил и я в первой части этой книги, доказать, что литературное и художественное произведение есть продукт — потребляемый и обмениваемый и что поэтому об установлении литературной собственности не может быть и речи.

Таковы принципы безусловной справедливости, они указывают на точку, в которой политическая экономия сходится и совпадает с нравственностью, они применимы ко всем временам и ко всем нациям. Люди, решающиеся отрицать их, похожи на тех патрициев древнего Рима, которые отказывали плебеям в праве вступать в брак и иметь религию, так как считали плебея недостойным таких таинств, или пожалуй, на рабовладельцев, полагающих, что негра не стоит и крестить.

Да, впрочем, разве нет и у нас таких публицистов, которые восстают против распространения образования в массе народа? — Разве и у нас журнальное дело не обращено в монополию, за установление которой на правительство постоянно сыплются упреки, но которая весьма выгодна для самих журналистов?...{13} Конечно, легко видеть, что если бы 30 лет тому назад, когда вопрос о литературной собственности был предложен нашим представительным собранием, наука провозгласила защищаемые мною принципы, а общество заинтересовалось ими, то мысль во Франции не была бы порабощена, а влияние партий и кружков не совращало бы общественного мнения с истинного пути.

Каким же образом мысль о литературной собственности до такой степени овладела всеми умами, что возведена в закон в самом благоустроенном из европейских государств? — Подобный феномен нельзя обойти молчанием, им стоит заняться потому, что он свидетельствует об упадке и нравственного и эстетического чувства.

В основании довольно распространенного в настоящее время мнения об интеллектуальной собственности, лежит несколько соображений. Для экономистов, оно вытекает из их стремления доказать, что писатели и художники, на которых большинство склонно смотреть как на паразитов, — настоящие производители, почему и имеют право, если не на заработную плату, то на какое нибудь вознаграждение. Происхождение этого несчастного мнения объясняется также тем безотчётным рвением, с которым многие с 1848 г. принялись за защиту права собственности. Мнение это есть ничто иное как полемическое преувеличение. Но, с точки зрения публики, заблуждение гораздо глубже; основание его лежит в той всеобщей деморализации, которая последовала за переворотом 89 и 93 г., деморализации, которая путем различных катастроф все увеличивалась в продолжении 70-

ти лет.

Французский народ, начав революцию, которая должна была обнять собою все слои общества, перевернуть весь строй его, не в состоянии был довести ее до конца. «Это было свыше сил наших», говорил изгнанник Барер. Отцы наши сначала храбро принялись за дело, но потом смутились, мы же только и делали, что пятились назад. Не знаю действовали ли бы другие на нашем месте смелее и успешнее, но мы потерпели поражение. Но если революция, доведенная до конца, способствует возрождению народа, то неудавшаяся революция неизбежно влечёт за собою нравственное ослабление и упадок нации. Огорчённые неудачей, потеряв всякую бодрость, мы упали со всей высоты своих принципов. Потеряв веру в самих себя, мы потеряли и всякое доверие к своим принципам, к своим учреждениям, мы стали скептически относиться даже к таким вещам, как добро, красота и благородство, к которым скептицизм совершенно неприменим. В настоящее время, безнадежное непостоянство взглядов, слабость характера и отсутствие добросовестности — составляют наши отличительные черты. Человек должен бороться и побеждать; если энергия его падает, то взгляды его быстро изменяются, честь и личное достоинство скоро ступёвываются и человек предается гниению.

§ 7. Политическое бессилие — первая причина литературного торгашества

Всякую истину нельзя установить иначе, как точным образом объяснив противоположное ей заблуждение. Так как в настоящем случае вопрос идет об нас самих, об нашем прошлом и нашем будущем; так как спроектированный закон по своей основной мысли и по своим последствиям тесно связан с переворотами последних семидесяти лет, то я счёл не лишним взглянуть на отдельную ветку вместе с целым деревом и ближе проследить процесс прозябания. Я по возможности постараюсь сократить свои соображения; впрочем я не принуждаю читателя прочесть мою книгу от доски до доски, но считаю своею обязанностью не упустить ничего из виду.

Я говорил уже о том, что мы не могли или не успели осуществить своих реформационных замыслов; что следствием такой неудачи была деморализация, и что упадок нации выразился между прочим в продажности литературы и в предложении закона, который должен был бы обратить гениальные произведения в объекты права собственности.

В подкрепление этих положений я приведу несколько фактов.

Так напр.: мы пробовали ввести у себя монархическое правление и поставить целью его защиту свободы. Подобная цель входила в состав революционной программы; но осуществить ее нам не удалось. Перед нами был пример Англии, нам оставалось следовать указанному ей пути. Англичанин сказал себе: «я защитник монархии, я отстаиваю принцип королевской власти; но эта королевская власть должна быть такова, какой я желаю; король будет царствовать, назначать министров, служить точкою соединения между правительством и народною волею, выражаемою большинством; но он не будет управлять

страною, не будет иметь влияния на администрацию, — управление и администрация останутся за мною. Государь будет во всем разделять мое мнение и друзьями его будут только мои друзья»...

Произнеся самому себе подобную сентенцию, англичанин не прибавил однако по испанскому обычаю: *Y sino no*; он не предоставил своему государю права выбора и торга. Англичанин не так горд как испанец, но за то гораздо тверже его. Он захотел иметь государя, выполняющего все его желания и нашел такого. В английском народе и без того уже много недостатков, по крайней мере действительно хорошим его качествам следует отдавать должное. Не мало борьбы пришлось вынести Англии для того, чтобы достичь своей цели; один из честнейших её королей погиб на эшафоте, другой был изгнан из государства со всем своим потомством; верноподданные англичане оплакивали подобные бедствия; но наконец королевская власть покорилась, смирилась и в настоящее время живет в совершенном ладу с народом.

Франция — страна также монархическая (не знаю с какой стати *Indépendance Belge*, далеко не республиканская газета, недавно упрекнула меня за подобное мнение). — Франция страна монархическая до костей, демократизм её глубоко проникнут монархизмом. Напрасно впродолжении тридцати лет и ход событий, и голос личной выгоды, и парламентарная диалектика стремятся увлечь ее в другую сторону; инстинктивное влечение преодолевает все посторонние влияния. Франция искренно предана монархизму, в какой бы форме он не проявлялся — в диктаторской, в императорской, в президентской, в легитимистской или в орлеанистской; утверждающие противное говорят неискренно.

Так как в наше время невозможна монархия абсолютная, то Франция, по примеру Англии, вздумала обращать на путь истинный своих прежних деспотов. Для этого она перевезла своего короля из Версаля в Париж, вернула его из Варенна, заставила его присягнуть в верности конституции, надела на него красную шапку, а наконец взвела и на гильотину. Впоследствии она бросила Наполеона I, прогнала Карла X, свергла с престола Луи-Филиппа; два раза грозилась она ввести у себя республику и в результате всего этого получился Наполеон III. Можем ли мы в настоящее время похвастаться тем, что укротили, переделали монархическое правление, с которым никак не можем расстаться? Достигли ли мы того образа правления, который считали наилучшим отцы наши в 1789 г., к которому дважды возвращались их дети, словом того политического устройства, о котором думал Монтескье, которое хорошо понимал Тюрго, которого желало учредительное собрание, которое пробовали осуществить хартии 1814 и 1830 г., которого требует и в настоящее время большинство наших либералов?

Нет, монархический элемент и до сих пор преобладает в нашем государственном устройстве; мы не могли ни обойтись без монархии, ни умерить её, так что наконец нам надоело даже и говорить о республике и мы кончили тем, что преспокойно дали взнуздать нашего ретивого коня. Это переходный порядок вещей, скажете вы. Правда, но в нашей жизни и все ведь переходно. Потребность свободы с каждым годом делается все настоятельнее, уважение к власти становится все менее и менее прочным, общественные интересы все более и более совпадают с частными, а поэтому можно предполагать (и такое предположение еще более подкрепляется теми уступками, на которые в последнее время

решилось императорское правительство), что вскоре французский народ, если не приобретет полной автократии, то по крайней мере примет значительное участие в государственном управлении. Но кроме того, что отличительные свойства французской нации заставляют не слишком то твердо верить осуществлению подобного предположения, если бы даже ему и суждено было осуществиться, то этот счастливый исход дела пришлось бы приписать ходу событий, даже благоразумию императорской власти, но отнюдь не народной воле.

В таком случае вышло бы то же самое, что в 1848 г., когда все стали республиканцами по неволе, но никто не мог похвастаться тем, что одержал победу над монархической властью.

Я упираю на этот факт, так легко объясняемый нашими историками, которые сваливают всю вину на королей и говорят, что нация принуждена была низвергать королей, нарушавших свои обещания. Как будто значение власти и не заключается именно в возможности беспрестанно ее превышать! Какова бы ни была вина жены, но развод всегда набрасывает подозрение и на мужа; что же после этого сказать о человеке, четыре раза прибегавшем к разводу? — Все наши распри похожи на домашние ссоры, из которых монархия в конце концов всегда выходила торжествующею, в народе же, представляющем собою мужеский пол, всегда недоставало стойкости и решительности. Мы не слишком сильно стояли за конституцию девяносто первого года, которая исказилась прежде чем получила силу и поддались на республиканское правление девяносто третьего года, которого вовсе не желали. Когда после 18 брюмера Сиес попробовал снова привести нас к конституционной системе, то мы встретили аплодиссментами слова Бонапарта и нашли совершенно основательным, что ему не хочется быть откармливаемой свиньей (*un cochon à l'engrais*); так мало способны мы были понять значение новой монархии. Мы много ораторствовали во время реставрации, каждый день делали шах королю, но не принимали хартию за серьёзное и впоследствии сами хвастались тем, что разыграли комедию. С Бурбонами, между тем, было бы совсем не трудно справиться; Карл X был совсем не то, что Яков II. После 1830 г., когда в порыве увлечения г. Тьер произнес свою знаменитую фразу: «Король царствует, но не управляет» (*Le roi règne et ne gouverne pas*), то мы увидели в ней только сарказм взбунтовавшегося подданного; она послужила новым аргументом для республиканской партии. Конечно, если бы дело было только в силе плеч, то мы легко справились бы с императорским правительством; но, спрашивается, что бы мы из этого выиграли? Вопрос в том, чтобы запрячь льва, а не убить его. Мне бы не хотелось обезнадеживать друзей свободы; но они должны знать, что до тех пор, пока не изменится общественное устройство во всей Европе, французское правительство всегда будет сильно и всегда будет возвращаться к тому типу, представителями которого служат Клодвиг, Карл великий, Людовик XIV и Наполеон. Никогда народ не возьмет верха над правительством.

Недавно некоторые журналы вздумали взяться за защиту конвента и доказывать справедливость приговора, произнесенного над Людовиком XVI. Нужно сознаться, что в настоящее время вряд ли прилично прибегать к подобным манифестациям... Эта казнь лежит на нас всею тяжестью своей преступности. Не энергия и не справедливость, но трусость и злоба были причинами этой казни, что ясно обнаружилось, когда лица, подавшие голоса за смерть короля, как Сиес, Камбасерес, Фуше и Тибодо (*Thibaudeau*) поступили на службу при дворе императора; когда самозванный трибун Бенжамен Констан в 1815 г. взялся

за составление для возвратившегося с Эльбы императора Дополнительного акта, в котором сыграна такая глупая шутка с принципом конституционной, представительной и парламентарной монархии, установленной хартией 1814 г. В 1862 г., после стольких поражений, рукоплескать казни Людовика XVI, вовсе еще не значит высказывать свое республиканское рвение; это значит скорее, как и в 1804 г, приносить королевскую голову в жертву императорскому всемогуществу.

Последствием всего этого было то, что с 1789 года мы находимся в критическом положении: революция не кончена, как уверяли консулы в 1799 г.; она также и не брошена, как утверждали эмигранты в 1814 г., она просто заторможена. Поклонение королевской власти ослабилось, но и принцип, и практическое его применение остались неизменными и так как значение республики, после двух неудачных опытов, до сих пор неопределено, так как её назначение совершенно противоположно всему тому, что мы привыкли уважать и искать в монархии, то поэтому в нас не осталось ни монархической веры, ни республиканского убеждения. Мы следуем старой рутине; у нас нет политических принципов, так как в настоящее время мы не умеем жить ни под властью монарха, ни без него. Энергия наша театральна; вместо self-government'a, который в Англии кроется за монархическими формами, у нас есть только одно чиновничество, которое пользуется популярностью вследствие того, что в него открыт доступ всем гражданам. Вместо федеративной республики, или монархии, окружённой республиканскими учреждениями, у нас существует какой то демократизм, который на деле ни что иное, как другая форма деспотизма. Наконец, в довершение всего этого, наше правительство, которое в сущности, откуда бы и каким бы образом оно не явилось, есть ни что иное, как орган народной воли, принуждено из простого чувства самосохранения, действовать самовластно; народ же, считающий себя властителем, алчный до пенсий и должностей становится слугою им же избранного правительства, считая себя вполне свободным и счастливым.

Вывод: Нации, впавшей в политический индифферентизм, всего труднее иметь политическую литературу. Ей всегда грозит опасность, что писатели, в книгах и журналах обсуждающие политические, экономические и социальные вопросы, мало-помалу обратятся в таких безупречных чиновников, которые безразлично трудятся на пользу своей страны при всевозможных правительствах.

§ 8. Торговая анархия — вторая причина литературного торгашества

Деморализация, произведшая столько горьких плодов в политическом устройстве, принесла не менее вреда и в сфере идей и в сфере частных интересов.

До 1789 г. среднего сословия не признавали, а простолюдинов презирали. Мир полезных производителей, составлявший 70 % всего народонаселения и имевший полное право требовать, чтобы на него было обращено внимание отодвигался на третий план. Такой порядок вещей был для нас истинным несчастьем. Началась революция, народные массы

выступили на сцену, одержали верх и над духовенством, и над дворянством, и над королем; и земля и власть очутились в руках народа. Результат был бы великолепен, если бы революционеры умели так-же хорошо отстраивать, как разрушать. После двадцатипятилетней войны бурный поток наконец снова вошёл в берега, тогда-то пришла пора приняться за организацию нового промышленного устройства, которое заменило бы феодальный порядок, уничтоженный в 1789 г. Тогда-то одним прыжком от корпорационного и цехового устройства перешли к принципу свободной конкуренции; — приходилось на развалинах старого порядка установить новую экономическую систему. Но этот труд был слишком велик для французов, которые не умеют соразмерять своих сил, рассчитывать своих средств и разумно и твердо идти к осуществлению своей цели. Власти, которую не умели ограничить, предоставлен был полный произвол; таким же произволом хотели наделить и всех занимающихся промышленностью и торговлею. Анархия в торговом мире, которую Сисмонди понял с самого её введения, была последним словом революционной науки. Что же из этого вышло?

Один из недостатков революции заключается в том, что с 1789 г. мы отвергаем не только всякие предания, но и всякую преемственность. Это ясно обнаруживается в частых переменах правительств, которые не имеют друг с другом ничего общего, так что уроки, данные одному из них, нейдут впрок другому. Тоже самое можно сказать и о буржуазии. С 1792 г. над нею совершается метаморфоза, все в ней изменяется, и вид и направление. Место и имя прежней буржуазии переходит к новому поколению, чуждому и буржуазных стремлений и дворянских манер, опирающемуся в своих притязаниях только на завладение народным богатством и на уничтожение старого порядка. Это новое поколение завладевает общественным мнением и становится во главе движения, не замечая того, что деятельность его ограничивается воспроизведением, в новой форме, старой, брошенной системы. Новые феодалы-капиталисты хотят опираться на новые начала; старые феодалы основывали все свои притязания на требования религиозных, неземных; мы же, в настоящее время, возвратились к первобытному материализму, к грубому и ничем не прикрываемому обожанию материальных выгод.

И в этом случае мы думали идти по стопам Англии, но положение наше было совсем иного рода. Дав толчок промышленности, дав ход буржуазии, Англия сохранила однако и поземельную аристократию и духовенство; Англия сохранила свою социальную систему, свою национальную религию, свою практическую философию, которые защищали ее от политических заблуждений и от крайностей в развитии спекуляции; наконец она владела океаном и повелевала целым светом.

Наше увлечение примером Англии повлекло за собою экономический переворот столько же унижительный для нашего самолюбия, сколько и гибельный для наших финансов. Богатство и сила Франции неразрывно связаны с системою мелкого владения и мелкой промышленности, которые уравнивают друг друга и поддерживаются время от времени большими предприятиями, эта система диаметрально противоположна той английской системе, которую мы с непонятным рвением вводим у себя в течении последнего полвека. Французы не могут этого понять; им свойственно пренебрегать собственными своими средствами и увлекаться чужим примером. Впродолжении нескольких лет дело шло хорошо, но в настоящее время к какому результату пришли мы? — Нищета осаждает все классы

нашего народа. Экономическая анархия наводит уныние на все души. Упадок развития буржуазии, заражённой утилитаризмом, начался при Луи-Филиппе, в то время, когда правительство стало покровительствовать первоначальному образованию. Буржуазия отказалась от прежней доброй методы обучения и предалась изучению математики и промышленности. К чему знакомиться с Греками и Римлянами? — К чему философия, языки, юридические науки, изучение древности? Давайте нам инженеров, приказчиков и подмастерьев... Открытия, сделанные современною промышленностью, окончательно ослепили эту касту торгашей; то, чему следовало бы вести к облагорожению умов, принесло новое торжество обскурантизму. На науку народного богатства стали смотреть с антиэстетической точки зрения. Политическая экономия, сказал г. Тьер, — скучная материя. Таким-то образом понятая политическая экономия и породила понятие об интеллектуальной собственности и о продажной литературе.

Лучшим мерилom взглядов современной буржуазии на литературное и художественное дело может служить отношение её к журналистике. Попробуйте упрекнуть редактора какогонибудь журнала за то, что он подличает перед властью, лицемерит, льстит, молчит, когда следует говорить, и он прехладнокровно ответит вам: «Я не свободен в своих действиях, если я стану поступать по вашему совету, то получу предостережение». — Что за беда, — ну и получайте предостережение. — «Но журнал мой подвергнется срочному запрещению». — Перенесите это срочное запрещение. — «Но вслед за тем журнал мой и вовсе запретят». — Пусть запрещают. — «А капитал, затраченный на журнал, ведь я безвозвратно его потеряю». — Жертвуйте своим капиталом, но не торгуйте истиною... Подобные слова смутят почтенного публициста и он повернет вам спину. — Очевидно, тем не менее, что этот человек, о котором общество думает, что он на жаловании у правительства, в сущности не вступал ни в какие сделки с властью. Да и кто станет подкупать подобного журналиста, правительству нет в этом ни малейшей надобности. Человек этот действительно находится в крепостной зависимости, но не от администрации, а от своего собственного капитала, и такое рабство может служить для правительства лучшим ручательством за верноподданнические чувства журналиста.

Таким образом, нам не удалось произвести ни экономической революции, ни политической реформы, и эта двойная неудача принесла нам много вреда.

Мы не умели справиться с своими королями, и испытав неудачу, мы потеряли сознание не только своего человеческого назначения, но и своей национальности. Мы перестали быть галлами, перестали быть сынами отечества. Между нами есть конституционалисты, республиканцы, империалисты, католики и вольтерьянцы, консерваторы и радикалы; — но все это одни только пустые вывески. Политических и социальных убеждений у нас не существует и национальность наша, сохранившаяся в одной лишь официальной сфере, стертая наплывом иностранцев и искусственностью, вошедшею в наши нравы, обратилась в миф. Какую партию выполняем мы в общеевропейском концерте? Невозможно определить. Мир идет вперед без нас, принимая только меры предосторожности против наших 500,000 штыков. 74 года прошло с тех пор как среднее сословие, устами Сиеса скромно просившее, чтобы ему дозволили чтонибудь значить, стало господствующим сословием. Получив такое огромное значение, среднее сословие не знает уже чего ему более желать и потому отказывается от своего назначения!..

Говорить ли о философии? — Достаточно будет ограничиться одним простым сближением.

В XVI веке Германия пришла к такому выводу: «папство развратилось, новый Вавилон — Рим, — изменил Христу, разрушил его царство; но я остаюсь верною Христу и спасу религию...» И Германия, отделившись от римской церкви, произвела реформацию. Набожность воскресла на земле, влияние протестантизма проникло в самое сердце католической церкви, которая, преследуя ересь, принуждена была, однако, подчиниться общему движению. Из этой непоследовательной, но великодушной реформации, триста лет спустя, вытекла широкая германская философия, которая и до сих пор развивает и возвышает душу всякого немца, подчиняя его одним только юридическим условиям свободы. Дело Лютера, конечно, было легче дела Мирабо; но Лютер был понят и оценен своими согражданами; германское племя, подобно англо-саксонскому, достигло своей цели; мы же бросили и прокляли Мирабо и до сих пор еще не знаем, чего именно добивался этот великий трибун и чего хотели наши предки. В настоящее время Германия работает над составлением федеративно-республиканской конституции и таким образом, по своему, продолжает дело, начатое Францией в 1789 г. Германская нация идет вперед тихим, но твердым шагом. Её мысль, иногда и туманная, есть соль земли; пока не прекратится философская деятельность между Рейном и Вислой, антиреволюционное движение не может восторжествовать.

И к нам в XVI веке дважды являлась реформация, но мы дважды отвергли ее и в лице Кальвина, и в лице Янсена. В XVIII веке мы вздумали вознаградить себя и забрать в свои руки философию. Французская философия, по словам Гегеля, была старшею сестрою немецкой. Одна поставила основные положения, другая вывела из них заключения. Начатая такими людьми, как Фрере, Монтескье, Вольтер, Кондильяк, Дидро, д'Аламбер, Бюффон, Кондорсе, Вольней, французская философия могла по справедливости назваться и философией природы, и философией права, основанной на здравом смысле. Таково было начало того движения, которое окончилось революциею 1789 года. Но философия наша сохранила характер индивидуальности; масса ее не усвоила. По всем отраслям знания Франция произвела величайших гениев, но эти гении постоянно находились в положении отшельников. Мы редко знакомимся с ними и то из пустого любопытства. Мысли этих гениев уподоблялись евангельскому семени, которым питаются птицы, но которому мы, с своей стороны, предоставляем сохнуть на каменистой почве. Выводы науки не принесли нам пользы; принявшись за размышление, мы слишком многое принимали на веру, веры в нас было слишком много, а в добродетели ощущался недостаток. При первых проблесках света мы пали ниц, как апостол Павел на пути к Дамаску, но уже не поднялись с земли. Из всех произведений наших мыслителей в нашей памяти остались только их шутки и их богохульства. После оргий 93 года и времени директории большинство возвратилось к старой религии; Бонапарт открыл церкви и дело было решено. Наиболее храбрые вдались или в мистицизм, или в вольнодумство, большинство же впало в совершенный индифферентизм. — Эклектизм, метафизический винегрет и философская всякая всячина — таковы продукты этого индифферентизма. Спросите у нас чего хотите: спиритуализма, материализма, деизма, экоссизма, кантизма, платонизма, спинозизма. Вы хотите, быть может, согласовать религию с разумом? — Говорите, требуйте, мы можем удовлетворить всякому вкусу и отпустить товар в какой угодно мере... Мы похожи на спутников Улисса, обращённых феєю в свиней, которые сохранили человеческие качества именно на столько, чтобы обращать человека в посмешище. Наша совесть похожа на тот гриб, который

высыхая, осенью, распространяет зловоние, почему простонародные остряки дают ему такое название, которое неудобно повторять в печати. Мы оскверняем все то, что прежде уважали; мы торгуем и правом, и долгом, и свободой, и общественным порядком, и истиною, и фантазиею, пускаем все это в оборот, как заемные письма или акции железных дорог. Нам нет никакого дела ни до нравственности, ни до истинной стоимости вещей, ни до постоянства и верности своим убеждениям, мы пользуемся всяким случаем, всякою переменою для своих спекуляций.

§ 9. Упадок литературы, вследствие её продажности. — Предвидимое изменение

«В литературе выражается характер общества», это избитое изречение грустным образом подтвердилось в настоящее время. Чем же должна быть литература при тех политических, экономических и философских условиях, о которых я только что говорил?

Французская литература, служившая лучшим представителем XVII и XVIII веков, после падения директории перестала идти в уровень с веком. И в самом деле, могла ли Франция 1804 года, понимать таких людей, как Боссюэт, Вольтер, или Мирабо?... Уровень общественного развития сильно и быстро упал. Лучшим писателем в то время считался Фонтан{14*} (Fontanes), а между тем, кто же читает Фонтана? — Наполеон восхищался Оссианом, но кто же в настоящее время станет читать Оссиана? — Что же оставила нам императорская литература?

Во время реставрации было два направления в литературе: одно положительное, историческое, другое — романтическое. Первое не успело достигнуть совершенства в своем развитии; второе было похоже на песню евнуха. Серьёзным произведениям нашего века суждено еще прожить некоторое время, вследствие тех материалов, которые в них заключаются, романтизм же окончательно прекратил свое существование. Шатобриан забыт, а кто бы в 1814 г. мог поверить, что такого великого человека забудут? — Много еще других писателей испытают ту же участь, многие будут в скором времени забыты потому, что память об них и теперь поддерживается только стараниями партий, да рекламами.

С 1830 г. Франция, вся углубившись в промышленные соображения, совершенно покончила с литературным преданием; с тех пор упадок в литературе шёл все быстрее и быстрее. Французская литература, изменив своему национальному духу, пристращается ко всему иностранному, вдается в подражания, коверкает и искажает французский язык. Бедность в идеях заставляет вдаваться в ложь и преувеличение, заставляет прибегать к литературным заплаткам, применять изящные формы, созданные гениями к пошлым и гнусным вещам, писать по готовым образцам подобно тому, как школьники пишут латинские стихи с помощью Gradus ad Parnassum. И это называется литературою! Для того, чтобы придать своим произведениям вид самостоятельности и глубины, — переделывают правила

искусства, унижают классиков, которых не в состоянии понять, пишут мудреные буримы, возвращаются к языку трубадуров, во имя природы воспроизводят уродство, восхваляют порок и преступление, угощают публику допотопными описаниями, декламациями и разговорами; а библиографический бюллетень дает публике отчет о всех подобных приобретениях. И это называется литературой!

Правда ли, что для большинства писателей, литература — ремесло, доходная статья, если не единственное средство пропитания? — В таком случае никакого различия нельзя и ожидать; раз, что писатель, бросив молоток, берется за перо и делается ремесленником, он должен до конца быть верным своему назначению. Он должен понять, что служить истине, ради её самой, печатать только истину, — значит восстанавливать против себя весь свет; что личный интерес велит писателю стать на сторону той или другой из властей, служить известному кружку, партии, или правительству; что прежде всего нужно научиться не затрагивать предрассудков, личных интересов и самолюбия людей. Вследствие подобного взгляда на свое назначение писатель будет следить за всеми колебаниями общественного мнения, сообразоваться со всеми видоизменениями моды; он будет заботиться об том, чтобы удовлетворить вкусу, настроению общества в данную минуту, будет курить фимиам современным кумирам и извлекать свою выгоду из всякой гнусности. {15}

Таким-то образом литература наша упала очень низко. Забыв, что главным, руководящим принципом её должно быть самопожертвование и погнавшись за барышами, она менее чем в полвека из литературы искусственной, обратилась сначала в литературу скандальную, а потом и в рабскую. Много ли у нас людей, думающих, что назначение литературы заключается в защите права, нравственности, свободы; что вне подобного назначения немислима деятельность гения? Была ли литература когда нибудь так пуста, как в настоящее время, не смотря на все обилие поучительных событий? — В то время, когда ей следовало бы идти за веком и развиваться, она пятится назад. Преклоняясь перед золотым тельцом, или трепеща перед грозною властью, литератор заботится только об том, чтобы извлечь наиболее процентов из своего литературного капитала и для этой цели он или вступает в сделки с властями, которым подчинен, или добровольно себя обезображивает. Он забывает, что подобные средства ведут к искривлению души и убивают гения, что литератор таким образом становится простым наемником и что в подобном случае все равно, кто бы ему не платил — издатель или полиция.

Но возражают мои противники, именно для того-то чтобы возвысить положение писателя, чтобы сделать его лицом почтенным и независимым, мы и требуем установления литературной собственности... Ложь! Доказано, что установление подобной собственности, противной принципам политической экономии, гражданского и государственного права, ведет к смешению понятий о вещах продажных и непродажных, а следовательно и к развращению литературы. При том же требуется определить, в чью пользу хотят установить литературную собственность: в пользу самих литераторов, или их наследников? — Когда писатель начинает свою деятельность, то у него еще ничего нет; ему приходится самому (без посторонней помощи) строить свое гнездо. Часто ему в своих произведениях приходится идти в разрез с общественным мнением и в таком случае он должен ожидать, что будет оценен лишь после смерти. Следовательно, защитники литературной собственности имеют в виду наследников писателя; следовательно, они хлопочут об

установлении особого рода майоратов, хотят положить основание новой интеллектуальной аристократии, и, под покровом права собственности, хотят ввести организованную систему развращения и порабощения.

Рассказывают, что при разрушении Коринфа консул Муммий сказал подрядчику, который взялся за перевозку статуй: «Если ты разобьешь их, то должен будешь поставить новые!» За 145 лет до Р. Х. Римляне не умели еще делать различия между искусством и ремеслом; мы, в настоящее время, возвратились к тому, что смешиваем их. В самом деле не так ли поступаем мы вводя цеховое устройство, в феодальном его смысле, в область литературы и искусства? — Сколько есть (даже и между литераторами) людей, воображающих, что гению отнюдь не мешает получать богатое вознаграждение, и что гениальное произведение может всегда быть изготовлено по заказу, как дом, или экипаж. Посредственность рада утешать себя мыслью, что искусство падает вследствие недостатка поощрения для артистов.

Услышав, что упрекают его за то, что он не поощряет художников, лорд Пальмерстон, говорят воскликнул: «Разве мы уже перестали быть англичанами?» — Он хотел этим выразить, что поощрять искусства дело не государства, а общества. Такого же мнения и наши дилетанты. Мы думаем, что нация пользуется славой, если в состоянии купить ее; что если на перестройку Парижа употребить двенадцать миллиардов, то он будет чудом в архитектурном отношении; что литература будет процветать тогда, когда литераторы будут получать ренты.

Из упорного уподобления изящных произведений — полезным можно, впрочем, вывести мысль, которой и не подозревают защитники литературной собственности. Низведение искусства на степень промышленности нельзя ли объяснить тем, что сама промышленность поднимается на степень искусства? — Взгляните на выставки: по словам рецензентов, произведения искусства, появляющиеся на выставках, с каждым годом становятся все плоше и плоше; за то, произведения промышленности являются все более и более великолепными. Разве не принадлежат к области искусства произведения севрской или гобелинской мануфактуры? Разве искусство не проявляется во всех этих машинах, во всех этих богатых материях, во всех этих роскошно-иллюстрированных изданиях? — Разве все эти чисто утилитарные изобретения, — электрический телеграф, фотография, гальванопластика, паровая машина, машины швейные, типографские и друг. не могут стать на ряду с знаменитейшими произведениями наших художников, скульпторов и поэтов? — Разве идеал не проявляется в произведениях парижских и лионских мануфактур столько же, сколько и в произведениях наших романистов и драматургов? — Разве наконец дар слова не развился до огромных размеров у наших адвокатов, профессоров, журналистов и у множества других людей, для которых литература и красноречие вовсе не составляют ремесла? Дай-то Бог, чтобы и дар мышления получил бы такое же широкое распространение как дар красноречия! Мы ищем идеала в красноречивой речи и в красноречивом письме, которые, по нашему мнению, служат лучшими выражениями здравого, ясного мышления и чистой совести, а, сами того не замечая, уже достигли этого идеала. Мы красноречивы, как Пиндар, или как сам Феб; благодаря громадному количеству романов и периодических изданий, ежедневных, еженедельных и ежемесячных, доступных для всяких интеллигенций и для всяких карманов, изящество французской речи и сущность древней и новейшей

литературы стали достоянием всех сословий, так что никто уже не может гордиться исключительным знакомством с этими вещами. Можно ли после того удивляться, что литература и искусство уподобляются промышленности, когда всякий ремесленник может считать себя художником, когда рабочий имеет свою поэзию, а деловой человек свое красноречие? —

Итак мы живем в эпоху полной метаморфозы. Впродолжении долгого времени нам не суждено иметь ни истинной литературы, ни истинного искусства. Будут у нас должностные лица, как светские так и духовные, получающие от 1,200 до 100,000 фр. жалованья, будут наемные писаки, научившиеся правильно писать по-французски и классическим слогом трактовать по заказу о каких угодно предметах, будут у нас рисовальщики, способные подбирать краски, и ваятели, умеющие пользоваться идеями великих художников. Подобное положение конечно грустно, гнусно и глупо; но утешимся! Мало-помалу публика узнает истинную цену этой контрафакционной литературы, этого флибустьерского искусства; подделка будет преследоваться, уничтожаться и после одного или двух веков бездействия настанет наконец время возрождения.

Я от души желаю наступления этого времени. Мне самому надоела эта болтовня, это бумагомарание, это малярство. Но чтобы выйти из этого положения нужно соблюдать те законы промышленности, которые установлены революцией. Пускай авторам, изобретателям, усовершенствователям чем угодно обеспечивают способ получения вознаграждения, но пусть не вводят никаких привилегий, никаких бессрочных монополий. Везде и во всем да соблюдается принцип свободной конкуренции!

Версия #1

Зверобой создал 27 июня 2025 01:08:58

Зверобой обновил 27 июня 2025 01:14:48